

— Не за свое взялась. Приезжала бы к нам в Донецк, нашли бы ей настоящую работу, достойную молодой девушки,

Мастер ничего не ответил на это, казалось, он пропустил мимо ушей ее слова, закурил и стал пить чай вперемежку с куревом, а потом как-то неожиданно для всех исчез (он уходил от меня всегда неожиданно), оставив на блюдце половинку от конфеты и я подумал, как однако, он верен своим маленьkim привычкам /он никогда не съедал целой конфеты/.

И как-то сразу после его ухода стало неуютно в моем доме. Так бывает, когда заходит за тучу солнце. Гости стали собираться домой. Я не удерживал их, хотелось побывать одному.

Вечером Мастер зашел за мной, чтобы вместе идти на ужин.

— Знаешь, я посмотрел гороскоп на жену и на дочку, — сказал он по дороге в столовую. — Все сошлось. Надо будет его перепечатать.

Я думал, что Мастер шутит, однако и за столом он снова заговорил о гороскопе, видно его это волновало.

Я пытался понять, чем же его привлек этот гороскоп. Ведь нельзя же было допустить, что он слепо верил ему.

Считается, что люди, не способные мыслить логически более восприимчивы ко всякого рода мистике и вере в невероятное. О Мастере этого сказать было нельзя. Или причиной была его душевная неустроенность. Теряя жизненные ориентиры, люди иногда начинают хвататься, как утопающие за соломинку, за всякие мистические гаданья и другую чертовщину. Но нет, он давно открыл себя, определил свою судьбу и знает, что хочет. В его интересе крылось что-то другое. Что же?

Об этом я заговорил как-то с Литературоведом. Он пожал плечами:

— Мне это непонятно. И даже смешно.

Между тем, весть о том, что у кого-то из отдыхающих есть гороскоп, благодаря Поэту с быстротою телеграфа распространилась среди обитателей Дома творчества и, как это ни странно, им в первую очередь заинтересовались писатели. При встрече со мной Биолог уже несколько раз настоятельно просил, чтобы я дал ему возможность ознакомиться с гороскопом.

— Мне приносили его соседи, а теперь кому-то передали еще. Образовалась цепочка, до конца которой добраться теперь не легко, — вынужден был говорить я, потому что гороскоп в это время находился у Мастера — он перепечатывал его.

— Пусть найдут, — раздражался Эколог. — Должны же они нас любить. Не так ли?!

Узнав о просьбе Эколога и его притязаниях на любовь, Мастер рассердился:

— Пошел-ка он подальше. Любить его надо, скотину. А за что, спрашивается?!

— Так и передать ему? — смеялся я.

— Так и передай.

Эколог активно не нравился Мастеру. Я заметил: Мастер бывал резок с теми, кого не уважал, мог оборвать на полуслове, но был всегда справедлив и обижаться на него не имел смысла.

Меня разбирало любопытство: что же такое Мастер вычитал о себе в гороскопе, и как только эта «китайская грамота» попала в мои руки, я заглянул в нее и прочел, что касалось тех, кто родился в «год крысы». (Это был год рождения Мастера).

Выходило, что рожденные под этим знаком только с первого взгляда кажутся спокойными, уравновешенными и веселыми. На самом же деле эта кажущаяся видимость скрывает вечное возбуждение и систематическую агрессивность. Достаточно пообщаться с такими людьми и открывается в них нервность, беспокойство, темперамент холерика.

Далее говорилось, что люди этого сорта любят сплетничать, не гнушаются злословием, никогда никому не доверяют. Они стремятся извлечь пользу, прибыль из друзей и знакомых, из собственного очарования. Это опасное очарование крыса пускает в ход и злоупотребляет им без удержу.

Игрок и гурман, крыса ни в чем не хочет оградить себя. Парадоксально, что у нее всегда страх перед отсутствием необходимого и, хотя она постоянно живет настоящим, она всегда будет мечтать об экономии, чтобы обеспечить себя в старости.

Крыса, наделенная развитым воображением, может быть чаще всего превосходным критиком. Рекомендуется слушать ее советы.

... Будучи мелочной и мещанкой, крыса остается честной. У нее способность идти в делах до конца, даже если – увы, дело обречено на провал. Ей удается устроить свою жизнь и преуспеть в ней, если она будет давлять свое недовольство и чрезмерный вкус к данному моменту.

Крыса способна на великодушие к тому, кого любит, и даже, если тот не отвечает на ее любовь, так-как именно в любви крыса выражает себя.

Странное чувство испытал я, прочитав это. Мне показалось, что оракулы, составлявшие этот гороскоп, в чем-то оказались правы по отношению к Мастеру. Ко-

нечно, их предсказания были случайными, так бывает в любом гадании, но все-таки, они произвели на меня впечатление. Чтобы освободиться от них, я стал сравнивать то, что мне стало известно о Мастере после общения с ним, как я его понимал, с тем, что говорилось в гороскопе.

Он был самолюбив и ему не были чужды престижные соображения. Не знаю, ему может, даже нравилось, что его выделяют и чтят, раскланиваются с ним и дарят улыбки (которых он не замечал). Он не хотел, чтобы о нем говорили хуже того, чем он есть. О себе он думал, и может даже больше, чем о других. Считал себя особым. Он и был особым. Но, жалея себя, он думал о том, что мало сделал для других; «Не так вроде бы жил, много видел, нечего не успел». Давно ли был молод, очень молод, и собирался жить долго-долго. Он вообще не мог себе представить, что его когда-то не будет. Но вот прошли годы, не прошли, а пролетели, как одно мгновение, и он увидел, как скоротечна жизнь. Промелькнет и то, что осталось из отпущенного Богом, и вот он уже у черты, за которой черный сон. А что было? Да ничего особенного: написал всего несколько книг. Очень мало, если измерять это меркой прошлых поколений, когда писатели оставляли после себя десятки толстых томов. Да и в наше время не перевелись плодовитые беллетристы. Почему же у него вышло так? Что помешало? Или с самого начала взял не тот темп. Часто оглядывался назад, а то и вовсе останавливался? А ведь потерянного не вернешь. Но и отставать нельзя. И Мастер пришпоривал своего Легаса. Отсюда и вечная возбужденность, которую он прятал, замыкаясь в себе, нервность, беспокойство. Да, конечно, он холерик, хотя и может показаться меланхоличным. Насчет того, чтобы

любил сплетничать, этого не заметил, а вот злословить мог по отношению к некоторым двуногим, которые ничего другого не заслужили. Доверчивым я бы его тоже не назвал, Да и то сказать, так часто наша доверчивость оборачивается злом к нам же самим. О стремлении извлечь пользу и прибыль из друзей и знакомых ничего не могу сказать. Конечно, услугами других пользовался и пользуется так же, как и сам оказывал и оказывает услуги другим – без этого не проживешь. А очарования в нем на троих – это каждый скажет, кто с ним знаком накоротке. Насколько оно опасно – проверить трудно. Игрок и гурман – спорно, ни в чем не хочет оградить себя – верно. Возможно, и страшится «перед отсутствием необходимости», живет настоящим. О старости никогда не было разговоров и об экономии тоже, но старость его страшит, как всех, кто близок к ее порогу, кто слаб здоровьем, болен. Хлебосолом бы я его не назвал, но и обязываться не любил, одалживаться тоже. Пригласишь его к себе, смотришь – он тебя приглашает. И угождение на том же уровне. Жадности в нем нет. Воображение, как у всех писателей, большое. Его критические замечания стоят того, чтобы к ним прислушаться. Честен – это бесспорно. Идет ли в делах до конца – пожалуй, это тоже на него похоже. Во всяком случае, в своем творчестве он последователен, как никто. Думаю, что не свернет с выбранного пути, если ему это будет даже грозить большими неприятностями и карами. Жизнь свою в общем-то устроил и преуспел в ней – тут уж приходилось и недовольство свое подавлять и «вкус к данному моменту». А как же иначе добиться успеха честному литератору. Без труда не вынешь и рыбку из пруда. Все, что касается любви – об этом могут сказать только женщины, которых он любил.

И вдруг он исчез из моего поля зрения. Побарабанив утром по стеклу его окна – это у меня вошло в привычку – и не услышав в ответ его «обожди», я отправился на завтрак один, думая, что Мастер ушел раньше, пока я мюционировался.

Было пасмурно и ветрено. Для отдыхающих – потерянный день и они мрачно смотрели на то, как серые волны бьются о сваи причала, чертыхались. Ничего другого им не оставалось, как сидеть на своих верандах и резаться в карты или пить водку.

В столовой Мастера не оказалось. Не застал его дома при «обходе» своих знакомых и Поэт.

– Где классик? – спросил он меня. Я мог пожать только плечами. Ближе к вечеру Поэт снова наведался к Мастеру и опять ушел, не повидав его.

Ужинал я тоже без Мастера, и меня это немного удручало: я уже успел привыкнуть к его обществу.

Когда бываешь где-то из года в год, всегда там находится что-то дорогое твоему сердцу. Может, у Мастера есть тут какое-то заветное местечко и он сейчас сам себе кум-король, наслаждается жизнью, – думал я, вспоминая отдельные реплики Мастера насчет того, что иногда надо дать себе и слабину, побарствовать. Нельзя, чтобы человек был полностью подчинен только одной работе, иначе не увидишь и жизни.

У меня не было тут такого сокровенного уголка, и я сразу же после ужина отправился на набережную, втайне надеясь, что Мастер не задержится в своем обособленном тайном мире слишком долго и тоже выйдет прогуляться. Тут-то я его и увижу, как уже бывало раньше.

А может, у Мастера и не было никакого своего угла, а просто терзала его тоска-кручинка и отгородился от всех четырьмя стенами,

Надежды мои на встречу с Мастером на набережной не сбылись.

А поздно вечером, выйдя в сад, я увидел свет в его окне, которое, как всегда вечером, было плотно зашторено. Значит он был дома, значит работал.

Перед этим я дня три или четыре кряду заставал его за машинкой со вставленным в нее листом, на котором был напечатан один-единственный абзац. Что-то его не устраивало в своем писании, что-то он искал, какую-то свою потаенную тропинку к сердцу читателя что-то хотел понять. Жалко было смотреть на него, на то, как он мучается, не находя нужные ему слова. А может и не слова, а то, что кроется за ними – нужные мысли и чувства, как нещадно глотает дым, прикуривая от одной сигареты другую. Господи, и зачем столько вонючего дыма в одни легкие. Пишет о гармонии в природе, о красоте человеческой, а сам же калечит эту красоту. И вместе с тем, я завидовал ему, тому, как он был недоволен собой, как упорно добивался чего-то:

– Прочитай, – сказал он мне, вытаскивая лист из машинки.

Он писал о том, как его герой возвращается домой, в надежде обрести там среди своих бывших сверстников, с которыми бегал на речку, лазал на деревья, собирая ягоды, былую раскованность и умиротворение, и ничего не может этого там найти. Все ушло и душа не наполняется былым восторгом. И герой в растерянности. Зачем только приезжал, тратил время, тешил себя надеждами. И он ходит как потерянный, не зная куда себя деть, среди домов, которые кажутся чужими. И людей

он тоже уже не понимает. Все было тут уже не для него: и лунные вечера, и музыка, и шелест листвы над головой, и поцелуй.

Написано обо всем этом было хорошо, плотно, емко. И чувства были вложены. И вместе с тем, какая-то вымученность была в словах, какая-то заданность что ли. А может, мне это просто показалось, потому что не легко иногда бывает сходу проникнуться настроением автора, не знаю. Но я все-таки честно сказал Мастеру о том впечатлении, которое создалось у меня после прочтения этого абзаца. Он ничего не ответил, только неопределенно кивнул головой. А вечером обронил:

– Не могу двинуться дальше, пока не отработаю какой-то кусок.

– А потом много правишь себя?

– Почти не правлю.

Я не умею так. Пишу, что Бог на душу положит, а потом что-то дописываю – на полях и между строк, что-то вычеркиваю. И то, что получается в конце концов, совсем не похоже на то, что было в начале.

– Понимаешь, нельзя видно человеку возвращаться в те места, где нет уже корней, – продолжал он в ответ на какие-то свои мысли. – Ничего он там не найдет для себя.

– Это наверно все равно, как встретить через многие годы свою первую любовь – подумал я вслух.

Он кивнул:

– И тогда видишь, как та, на кого ты молился, кого ты боготворил, превратилась в заурядную женщину, каких тысячи: растолстевшая, кое-как причесанная, наспех подкрашенная, обремененная заботами о семье матрона в стоптанных туфлях, с набитыми авоськами в руках. Становится не по себе.

А может, ему нужны сейчас эти четыре стены, чтобы сосредоточиться на чем-то своем.

— Иногда так нужно одиночество, а его нету — говорил он мне. — Сейчас, чтобы закончить свою мурю (так он называл книгу о молодости) мне бы засыпать и просыпаться в лесу, в пустыне, на берегу моря. Но всюду кто-нибудь. Стал я очень раздражителен. Даже мои барские условия кажутся мне недостаточными. А меня еще звали все эти годы в Москву! Нет и нет! Правда, водится там прослойка людей, которая живет на дачах, почти по помещичьи, но сколько таких? Понимаю нашего Критика, который каждый час рвется из Москвы в Коктебель. И что меня еще сокрушает в этом году — это жуткий бег времени, моего времени! С весны прошлого года. Я прихожу в ужас. И курить бы надо бросить. А не получается и оттого нервничаю. Но, думаю, преодолею себя.

Мне так хотелось увидеть лицо Мастера во время работы, что я не выдержал и подошел к окну в надежде обнаружить щелку в шторе, которой оно было закрыто. Нет, я ничего не увидел, даже тени от его головы. И мог только представить, как он заглядывает в свою толстую амбарную книгу и что-то оттуда выписывает, что-то соответствующее моменту, хотя запись та была сделана давно, когда он и не помышлял о работе над тем, что его теперь волновало.

Сколько вставных эпизодов, бытовых картинок, зарисовок раскидано по его рассказам и повестям. То и дело по ходу повествования появляются какие-то новые и старые люди, что-то делают, что-то говорят и исчезают навсегда. Но не бесследно для читателя. Они остались в памяти, потому что как-то были связаны с теми людьми,

о которых он рассказывал. И пусть эта связь была мимолетной, но она помогла автору выявить в своих героях какие-то новые черточки.

И на следующий день я не увидел Мастера. Все так же было зашторено окно.

Весь день я был как потерянный. Хотелось хотя бы одним словом обмолвиться с ним, узнать, почему он замкнулся и никого не хочет видеть. Может, ему нужна была помощь?

Вечером я снова отправился на набережную. Я ходил из одного конца ее в другой, надеясь на встречу с Мастером, и думал о нём. Возле причала, где мы стояли как-то с ним любуясь лунной дорожкой на море, я увидел невысокую полненькую женщину в кожаном пальто, бесседовавшую с высоким худощавым мужчиной в свитере. Их лица мне показались знакомыми, и я замедлил шаги, вспоминая, где видел этих людей.

И вспомнил, как однажды после ужина она подошла со своей приятельницей к Мастеру, который стоял в это время со мной и Поэтом, и попросила у него сигарету. И тут же они узнали друг друга. Она обрадовалась и, забыв о приятельнице, стала расспрашивать его, как он живет, над чем работает. Он отвечал неохотно и было, видно, не очень рад этой случайной встрече. А стоявшая в стороне приятельница знакомой Мастера все окликала подругу. Наконец, они ушли:

— Слава те, Господи, — сказал мой сосед.

— Кто она?

— Окололитературная дама. Таких не мало пасется здесь на побережье с намерением подцепить кого-либо из нашего брата. Правда, сама тоже пописывает

чего-то и ее имя иногда можно увидеть на последней странице небезызвестной газеты.

— Ты был с ней не больно любезен.

— А зачем? То, что ей нужно, я не могу ей дать, а то, что мне нужно — нет у нее. Должна бы догадаться, — закончил Мастер с раздражением в голосе.

И все-таки нелюбезность Мастера по отношению к этой молодой и очень пикантной женщине меня несколько удивила. Она показалась мне вполне интеллигентной особой, и я сказал об этом Мастеру.

— Вполне, — усмехнулся он. — Уже давненько у нас сместилось понятие об интеллигенции. Теперь считается: раз человек прилично одет, при галстуке, носит шляпу, сидит за столом и что-то там пишет у себя на работе, не выражается нецензурными словами, уступает дорогу дамам и так далее и тому подобное — значит, он и есть интеллигент. Оглянись вокруг — одни интеллигенты, и посмотри, сколько уверенности на их лицах, сколько апломба. Это одежда и сделала их такими, а надень на них что-нибудь попроще, и они вмиг растеряют всю свою интеллигентность. Не скажу, дело свое они тоже знают — учились в университетах и академиях. Однако, еще Пушкин говорил: «Ученых много, а умных мало». Поговоришь с таким интеллигентом и покажется тебе, что тебя накормили в столовой общественного питания. Желудок забит, а жрать хочется.

Был ли Мастер сам интеллигентом в том понимании, какое вкладывал в это слово? Не берусь судить. Проза его, безусловно, была интеллигентной. Во всяком случае, он тяготел к интеллигенции всей душой, не раз говоря с грустью:

— Не прибавляется у нас русской интеллигенции, хотя и больше стало грамотных, разбирающихся в тонкостях науки и техники, знающих, что к чему и почему.

— А куда же она подевалась?

Он посмотрел на меня таким же взглядом, каким тогда, когда я спросил его: кого он имел в виду в своей повести о старом русском интеллигенте, вздохнул.

«Не ответит», — подумал я и угадал. — «Не хочет или не может? Почему не хочет? Почему не может?»

Собеседником круглицей девушки в кожаном пальто был известный всем местным Дон Жуан, имевший здесь свою дачу. Он называл себя драматургом, сценаристом, писателем и здесь все ему верили, все, кроме драматургов, сценаристов и писателей, которые в Дом творчества приезжали работать. Для них он был никто. Но это нисколько не мешало ему выдавать себя молоденским женщинам и девушкам за литературного мэтра, обремененного работой по многочисленным издательским договорам и соглашениям. Можно было поручиться, что он рассказывал охотнице за литераторами в ту минуту, когда я их увидел, о своем писательском труде. Потом он пригласил ее к себе домой, но это уже не имеет отношения к моему повествованию.

Однажды этот «литературный мэтр» причалил к нашей компании, стоявшей около Дома Волошина, так-как с нами был Поэт, которого он знал, вступил в какой-то разговор с Поэтом, и тот нас представил. И тут произошло нечто неожиданное. Мастер вдруг перебил подошедшего к нам человека буквально на полуслове, сказав мне чуть ли не приказным тоном:

— Пошли отсюда, — и отвернулся сразу же ото всех нас и пошел к калитке сада. Я последовал вслед за ним,

спросил по дороге, почему он так повел себя по отношению к этому человеку.

— Я не умею и не люблю быть в обществе людей с маской на лице и двойным дном.

— А кто он?

— Это уж ты у него спроси.

Больше об этом человеке мы никогда с Мастером не говорили.

По широким окнам ресторана, стоявшего напротив причала, в такт танцевальной музыке, лившейся из этого богоугодного заведения, метались цветные блики вспыхивавшего и снова гаснувшего света, приковывая к себе внимание гулявших по набережной. Цветомузыка здесь исправно выполняла обязанности рекламы. Там за окнами была своя жизнь.

Глядя на разноцветные всполохи, я вспомнил, как однажды по приезду Критика из Москвы мы всей компанией посетили это заведение, поужинали с вином и даже потанцевали.

У Критика было грустное настроение. В Москве у него состоялся серьезный разговор со своей девушкой. На его предложение руки и сердца она ответила отказом. Об этом мне сообщил Мастер.

— Мы ему говорили, молодая она для тебя больно, в дочери годится. Состаришься — изменять будет, А он: «Когда состарюсь — пусть изменяет».

— Может в его рассуждениях и есть какая-то сермяжная правда, — сказал я в расчете на то, что последует высказывание Мастера, но он не стал распространяться по этому вопросу. У него тоже в тот вечер было минорное настроение. Скуки ради, он все проезжался по адресу двух одинаково одетых девушек, которые все время танцевали только друг с дружкой. Одна из них

была весьма миловидна и робка, а вторая мужеподобна и так прижималась к своей партнерше, что их можно было принять за сиамских близнецов.

— Они, видно, с Лесбосса сюда к нам пожаловали, — говорил Мастер. — Надо будет узнать, какая там сейчас погода и передать пламенный привет Сафо.

Я побрел вдоль набережной, минуя даму в кожаном пальто и ее трубадура, о котором она, по-видимому, ничего не знала. У нее было круглое свежее лицо и невинные глаза, и улыбка у нее была открытая, располагающая и тоже невинная. «То, что мне нужно, у нее нет». То, что было нужно местному Дон Жуану, он нашел. Судя по ее виду, она тоже нашла то, что ей было нужно. Но она ошибалась...

Встречались мне на набережной и другие люди, с кем здоровался, останавливался и разговаривал Мастер. Он знал тут многих и его многие знали.

На память приходили какие-то разговоры, которые велись Мастером в обществе всех этих людей или этими людьми в обществе Мастера.

О творчестве, о приемах мастерства почти не говорили, это в двадцать лет литераторы месят это тесто и так и этак, в надежде спечь хороший пирог, а потом видят — дело бесполезное. Каждый писатель свой опыт добывает самостоятельно и каждый по своему мыслит и чувствует жизнь. И художественная зрелость к каждому приходит через муки творчества и нет смысла разглашать на эту тему.

Лишь однажды я осмелился заговорить с Мастером о его ассоциациях, находя их всегда естественными и вместе с тем неожиданными. Никогда не узнаешь, о чем он поведет речь на следующей странице. Да что там

на следующей. Неизвестно, что ждет тебя в следующем абзаце. Одно только и знаешь – сейчас будет очередное открытие. И точно. Как это здорово бесконечное количество раз открывать одного и того же человека. И всякий раз восторгаться этому открытию, переводить дух, потому что нельзя сразу /это будет кощунством/ приступать к следующему открытию. Как часто, читая его, я отрывался от страницы, искал глазами кого-либо из домочадцев или друзей и говорил: «Послушай, как пишет, а!» И зачитывал вслух абзац, а то и страницу, а то и до конца, потому что слушатель все просил: «Давай, давай дальше!» А дальше было всегда интересно, свежо, ново и вместе с тем так близко сердцу, будто жил с этим всю жизнь, только не замечал почему-то. И теперь тебе преподнесли, как на блюде: «Вот твои мысли, оформлены, ты волен возвращаться к ним когда тебе угодно. Они пойманы и зафиксированы, как голос певца на граммофонной пластинке, открывай нужную страницу и читай, читай, читай».

Мастер не поддержал разговора, а может, не знал, что сказать в ответ на мои слова.

– Пиши, как пишется, – сказал он – По убеждению. Выражай себя. И не лукавь, не угодничай, не выдумывай без нужды. Что же касается ассоциаций, как ты называешь мои отступления, они могут быть, а могут и не быть. Тут все зависит от внутреннего позыва что ли, импульса, от потребности: выразить свое отношение к тому, о чем говоришь, через другие события. Отступление ради отступления уводит в сторону, затемняет смысл того, о чем повествуешь. За какие бы далекие горы не убегали твои мысли, они должны работать на идею, подтверждать то главное, ради чего пишется вещь.

«Написать бы о нем, о его удивительном творчестве. Только это не просто, а может и невозможно», – подумал я и тут же сожаление опять появилось оттого, что мало вглядывался в человека и ничего не фиксировалось мною на бумаге о том, как он себя ведет, что говорит.

Когда позже я сказал об этом Критику, он ответил:

– Я пытался. И кое-что сказал о его тихом таланте, что же касается рассказа о нем самом, то он был против.

«А разве обязательно спрашивать у человека, если хочешь о нем написать? В конце концов, можно

менять имя и выдать образ за собирательный. Так многие делают. Лишь бы хорошо получилось».

Он прочитал мои мысли:

– Узнают все равно, потому что таких как он, у нас больше нет. Может быть, есть лучше, но не такие.

С этим я не мог не согласиться. Конечно, есть сильные мастера. Ими созданы замечательные произведения, и характеры в них – будь здоров! И язык колоритный, сочный. Словом, все – что надо! И вместе с тем при этом «все – что надо!» там чего-то недостает. Чего же? Не знаю. Может, аромата какого-то особенного. Ведь есть красивые цветы, глаз на них не нарадуется. Но запах у них слишком резкий или его совсем нет, у него был свой «запах», только ему присущий. И это делало творчество Мастера неповторимым.

Я мысленно вхожу в ваш кабинет... – разносился по залитой огнями набережной завораживающий голос с пластинки Тухманова (в тот год молодежь была без ума от этой музыки). А я переносился своими мыслями в кабинет Мастера, там в далеком степном городе,

где он живет, в кабинет, где еще не был, и который часто воображал себе.

Простор, полумрак, тишина, стол с пишущей машинкой, множество книг. Я мысленно шарил глазами по книжным полкам его творческой лаборатории, где тесными шеренгами стояли любимые Мастером старинные манускрипты, воспоминания и мемуары замечательных людей земли русской: писателей, государственных мужей, философов, книги по истории Греции, Римской империи, Востока, Египта, ученые трактаты, мифы, легенды, сказки, лечебники, сонники, энциклопедические справочники и словари, а также старые и новые собрания сочинений русских и иностранных классиков художественной литературы.

Я раскрывал какие-то из этих книг на страницах с закладками и читал отчеркнутое карандашом:

«Там наше могущество, наши многообъемлющие грани, наше государственное достоинство; здесь наша память о жизни праотцев, наша народная внутренняя жизнь, наша вера, наш язык, все, что собственно наше русское, что никому кроме нас, принадлежать не может, что нигде, кроме Русской земли, не встретится, что никто, кроме русского человека понять не может».

В. А. Жуковский.

«Неуважение к своим предкам – первый признак дикости и невежества».

А.С. Пушкин.

«А зачем выдумывать? Зачем героини и герои? Зачем роман, повесть с завязкой и развязкой. Вечная боязнь показаться недостаточно книжным, недостаточно

похожим на тех, что прославлены! И вечная мука – вечно молчать, не говорить как раз о том, что есть истинное и единственно настоящее, требующее наиболее законного выражения, то есть следа, воплощения и сохранения хотя бы в слове!»

И. А. Бунин.

Мастер и в повестях своих иногда неожиданно цитировал старых забытых поэтов или что-то из Библии.

Я не представляю себе современного инженера, в личной библиотеке которого отсутствуют технические справочники и словари, где собрана и систематизирована нужная по его отрасли научная и техническая информация. По этой же причине я не могу представить инженера человеческих душ – писателя без справочников по психологии, этике, эстетике, философии, без словарей, прослеживающих историю слов и показывающих их сущность, их работу и взаимодействие с другими словами, возможности нести ту или иную смысловую нагрузку; без разговорников, сбораний пословиц, поговорок, присказок, примет.

По этому поводу у меня как-то состоялся обмен мнениями с Мастером и он сказал:

– Словарь русского языка надо читать постоянно – для души. У меня он всегда под рукой. Интересен он мне не толкованием слов (что их толковать?), а цитатами из древних текстов, зачастую прекрасными. Прочесть страницу в день – удовольствие. Словарь только начал выходить (XI – XII в.в.), первых двух томов у меня нет.

– А еще что под рукой у тебя?

– Когда что. Сейчас вот «Мифология» лежит – не доберусь, русская летопись (для школьников), стихи Боратынского. Утром что-нибудь прочесть полезно, –

как молока выпить. Но я забываю делать это. А беллетристику читать надо как можно меньше. Тем более в нашем возрасте.

Кстати: в «Науке» недавно вышла книга «Атхарва-веда», 406 страниц – древнейшее собрание индийских заговоров, гимнов и притчаний. Достань и читай. У нас ее не было. А на ночь читаю Сенеку и письма Чехова.

О письмах классиков литературы мы говорили не однажды. И я почувствовал, с каким он уважением относится к переписке замечательных людей, с каким тщанием ее изучает.

Возвращаясь домой, я увидел Поэта. Он стоял на залитой лунным светом аллее и, задрав голову, слушал, как поют соловьи. Он весь был во власти соловьиных трелей и не заметил меня. Наверное, так могут слияться с природой только поэты.

– Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат – сказал я вместо приветствия.

Он как бы очнулся и, наклонив голову, коснулся рукой берета.

– Да, знаете ли, метко было схвачено. В такую ночь заснуть действительно трудно.

Мы пошли по аллее. Пахло черемухой и было хорошо на душе.

– Вот у кого нам нужно учиться искренности чувств, – продолжал он.

– Вы так думаете?

– Ну а разве можно так спеть, притворяясь. Слышится, что они умирают от собственной песни, потому что вкладывают в нее все свои жизненные силы. И все это для возлюбленной, – он вдруг снова остановился и весь превратился в слух, даже глаза зажмурил.

А где-то в темных купах деревьев выводил свою трель соловей.

– Пожалуй, что нельзя, – согласился я.

– А человек может объясняться в любви и не любить. Как это противоестественно и недостойно царя природы. Не так ли?

– Вы сегодня философски настроены.

– Представьте себе.

– Охотно представляю.

– А почему? Знаете?

– Такая дивная ночь. И соловьи...

– Соловьи, – он горько усмехнулся и тронулся дальше по аллее.

Я шел рядом. Что-то он не договаривал. Может, я не вызывал у него доверия. А потом, придержав меня за рукав, спросил:

– Вы, конечно, знаете о пополновениях нашего Критика?

– О чем это вы?

– О любви. Но, как говорят в таких случаях, в кавычках. К горничной в детских колготках.

– Не понимаю.

И я не понимал. Нет, я понимал, но не думал, что все так печально обернется.

– А что такое?

– А вот что, – он посмотрел мне в лицо, – Час тому назад я сделался невольным свидетелем одной сцены. Это вышло случайно. Я был в гостях у одной старой писательницы, которая живет в том же корпусе, что и Критик. Она здесь бывала еще при жизни Волошина и называет его Максом, встречалась у него с многими интересными людьми: композиторами, музыкантами, имеющими которых сейчас известны всей стране. Слушать ее –

наслажденье. И вот когда я, опьяненный впечатлениями, вышел на улицу и направился к своему корпусу – услышал где-то впереди себя приглушенные голоса и сразу остановился, чтобы повернуть назад, не люблю быть кому-то помехой. И в это время послышались рыдания. Плакала женщина. Я насторожился. А вдруг, ей нужна помощь? И тут подал голос Критик. Что он сказал, я не расслышал, что-то резкое. А она стала не то о чем-то умолять его, не то в чем-то упрекать. Я узнал ее голос. А потом снова заплакала, я не стал слушать, ушел. А на душе сделалось нехорошо. Нет, я вовсе не защищаю ее. Хотя, как знать: может, у нее было все искренне. Но онто? Неужели он не мог найти другой объект для развлечений.

Поэт умолк, однако, неотрывно смотрел мне в лицо, точно подозревая меня в чем-то.

– Это дело обоюдное, – сказал я Поэту. А он человек свободный. Она тоже разведена с мужем. Ну, а если не нашлось точек соприкосновения...

– Подождите, – перебил он меня – Они же совершенно разные люди. Ну совершенно. Он образован, талантлив, умеет говорить. А она простенькая девчонка, из неудачниц. О каких точках может идти речь?

– Не знаю. Любовь – дело тонкое.

– Не смешите меня.

– Хорошо, назовем это увлечением, страстью. Как будто вы сами никогда не теряли голову,

– Терял, но сторожевые пункты несли свою службу и предупреждали меня. Думая о себе, нельзя забывать и о другом. Знаете, чем это кончится?

– Не знаю.

– Ты поди, кого-нибудь искать там будешь, – он не хотел, чтобы с нами еще кто-то был.

– А я вам скажу. Скандалом. И ей придется уйти отсюда. А с него взятки гладки. Он и впредь будет приезжать сюда, а о ней и не вспомнит. Так-то.

Мы двинулись дальше и всю дорогу молчали. А соловьи заливались во всю, стремясь вложить в свои песни всю страсть, на какую они были только способны.

Погода прояснилась. В этом крае редко бывают долгие дожди, особенно весной. Солнце нагрело камни, и на пляж еще до завтрака высыпал народ. Белые тела жались к парапету, где не продувало. Ряды купающихся пополнились новыми смельчаками, и теперь уже Критик и Литературовед никого не удивляли своими заплывами.

Вернувшись с утреннего мочиона, я увидел широко распахнутую дверь в комнату моего соседа и его самого, жмурившегося от солнца, улыбающегося, что было не часто по утрам, и какого то обновленного.

Наконец-то, он снова объявился! И теперь наслаждался своим отличным самочувствием. Кого-то он мне напоминал в эту минуту, но я не мог вспомнить кого, только на сердце при этом стало легко, как бывало в детстве, когда тебя многое не касалось, а в друзьях ты видел только хорошее и еще не представлялось случая проверить их в трудную минуту.

– Сегодня не плохо бы повалиться на бережке, как все добрые люди делают здесь, – сказал я. – А то приедем домой белые, как с Северного полюса.

– Можно, – ответил он. После завтрака я зашел за Мастером,

– Ты поди, кого-нибудь искать там будешь, – он не хотел, чтобы с нами еще кто-то был.

– А кого мне искать? Некого.

– Ну и ладно.

Он замотал в полотенце какую-то книгу, надел сандалеты на босу ногу и мы пошли. По пути выпили около киоска томатного сока. Мастер любил томатный сок, но продавали его на набережной не часто и это возмущало его.

Спустились по каменной лесенке к пляжу и он тотчас же бросил полотенце на гальку – у самого прохода, сел и стал стягивать рубаху и брюки.

Я тоже разделся до плавок.

Потом он закурил и мы растянулись на теплых камнях возле парапета, подставляя солнцу спины. Я увидел на боку у мастера шрам, говоривший о том, что он перенес операцию в области почек.

– Камни вырезал? – спросил я.

– Если бы. Пришлось лишиться одной.

В руках у Мастера оказался русско-французко-немецкий разговорник – старое дореволюционное издание.

– Открой наугад страницу, – он протянул мне книгу, – и назови на выбор строку сверху или снизу.

– Зачем?

– Узнаешь.

Я открыл словарь и назвал пришедшую мне на ум строку – по счету. Он прочитал ее вслух и сказал:

– Это имеет отношение к твоей судьбе.

Потом он «погадал» на себя и снова на меня. Это было похоже на игру, и занимательность этой игры состояла в том, что помещенные в разговорнике фразы невольно вызывали ассоциации связанные с событиями, в которых ты когда-то участвовал, наводили на размышления и давали пищу для истолкований. Здесь каждая фраза могла послужить поводом к разговору. В «старое

добро» время в некоторых семьях так гадали по Библии.

Мне показалось, что Мастер не впервые прибегал к этой игре для развлечения компании. Я бы даже поверили, если бы мне сказали, что он иногда и наедине с собой раскрывал словарь, чтобы узнать, что готовит ему грядущий день.

Рядом с нами нежилась на солнышке, прищурив глаза и раскинув в стороны тонкие руки, миловидная девушка. Она слушала нашу болтовню и чуть улыбалась.

– Он был во всем искусен. Я провела весьма дурную ночь, – читал Мастер фразы из разговорника.

Девушка чуть приподнялась с лежака и, глянув на нас из-под косынки, попросила Мастера, чтобы он и ей погадал по разговорнику, назвала порядковый номер строки. У нее был несколько протяжный окающий говор. Пока Мастер разыскивал в словаре стоявшую под ее номером строку, я сказал ей, что у нас на Волге тоже окают, но несколько иначе, как-то резче что ли.

– Значит мы соседи, – улыбнулась она и поправила спутанные ветром светлые волосы. Улыбка у нее была тоже мягкая, приятная и немного загадочная, как будто она знала о нас больше, чем это полагалось постороннему человеку.

Девушка сказала, что по роду своей работы ей тоже иногда приходится общаться с писателями. Она старалась придать своим словам особую значимость, назвала имя одного из представителей, так называемой деревенской прозы.

– Это наша гордость, – и она с жаром стала рассказывать об этом писателе, о его необыкновенном уме, эрудии, о его широкой русской душе.

И тут же зашла речь о последней книге этого писателя, которую так восторженно встретил читатель. Я читал ее только в отрывках, печатавшихся в периодике, и отрывки эти мне понравились.

— А что вы скажете? — спросила девушка у Мастера, видя, что он не спешит делиться своим мнением.

— Хороший писатель и творчество его достойно внимания, — сказал Мастер, и снова уткнулся в разговорник.

— И это все, что вы можете о нем сказать?

— А что еще?

— Что-то конкретное. Вам что-то не понравилось в нем?

Мастер уходил от разговора о творчестве. Так было почти всегда, когда речь заходила о произведениях того или того писателя.

— Что вам не понравилось? — не отставала девушка.

— Видите ли, понимать душу другого человека, это не значит выворачивать ее наизнанку и показывать читателям все, что там накопилось за долгую жизнь, в которой все было, — сказал Мастер. — Нормальные люди не выставляют напоказ свои болячки и изъяны, так почему же нужно сосредотачивать на них внимание и проходить мимо того, что возвышает человека, делает его тем, кем он должен быть. Это и должен помнить писатель, кого заботит правда, чувство гармонии, а не патология. Кстати, врачи говорят, что в патологии проявляется то, что было скрыто в норме.

— По принципу: что у трезвого на уме...

— Если угодно.

Думается, не легко это было сказать Мастеру, в свое время обласканному северным писателем в преди-

словии к одной из его книг. Но Мастер был верен себе и не мог поступиться правдой, говорил только то, что думал.

Девушка встала на защиту своего земляка и между ними начался спор. Ничего хорошего он не сулил и я решил отвлечь внимание спорящих и спросил у девушки о другом писателе, который тоже жил в ее городе и был не менее известен, чем первый.

За разговором мы и не заметили, как наши спины и бока изрядно подрумянились на солнце. Это грозило опасностью, и мы стали одеваться.

Уходя, пригласили светлоглазую девушку к себе на кофе.

— Зайду, — пообещала она.

Когда мы вышли на набережную, Мастер заметил:

— Говорит, точно поет.

А мне подумалось: «может не случайно, эта милая северянка оказалась рядом с нами. И не для нее ли Мастер покупал цветы? А потом замкнулся на целых три дня...»

Впрочем я тут же и отогнал от себя эту мысль. Мы нередко фантазируем, стремясь выдать желаемое за действительное.

Спустя день или два мы снова наладились на безделье. Где-то я все-таки мешал Мастеру. Деликатный по натуре, он не мог мне сказать, чтобы я не приходил к нему. А я не мог отказать себе в удовольствии лишний раз пообщаться с Мастером. Да он и сам, видно, уже привык ко мне и тоже захаживал чаще, чем диктовалось обстоятельствами.

Утром, застав меня за бритьем, он спросил:

— Что это за сенокосилка, трещит на весь Коктебель?

— Хочешь попробовать? — пристал он. — Ну ее.

— Ну ее.

— А ты попробуй все-таки, — пристал я, зная наперед, что ему понравится эта электробритва. Мне подарили ее на пятидесятилетие. Отличная штука с вибрационными ножами, не чета его «Харькову» — снимает волос под корень.

И он попробовал.

— А верно, хороша, — покачал он головой. — Дорогая, наверно?

— Сорок рэ.

— Великий человек!

Потом он взял в руки стоявшую на моем столе бутылку с мадерой и посмотрел на свет.

— Достал все-таки?! Далеко пойдешь.

— Может, примем по грамульке перед завтраком? Как ни как, а мы на отдыхе, — я чувствовал, что он не настроен на работу. Мы еще накануне успевали сходить сегодня в горы, если погода будет хорошей.

— Считай, что уговорил, — Мастер сам налил себе в стакан — так, чтобы покрыло только донышко.

— Нэпьет тильки тот, кто либо шибко хвор, либо велика подлюка, — сказал он и выпил.

— Принялось, — он перешел на украинский язык и стал хохмить. Он иногда хохмил, не часто, но всегда к месту и ко времени. И хохмы у него были свои, не взятые напрокат, как это бывает у некоторых остряков. Мне нравилось, когда у него дурашливое настроение. Но даже и тогда он оставался самим по себе и хохмил, наверное, чтобы скрыть что-то свое, внутреннее, что тревожило его, потому что даже тогда улавливалась грусть в его словах. А он не хотел, чтобы она передавалась другим. Переходя на хохляцкий говорок, он выковыривал из ук-

раинской мовы такие смешные и вместе с тем такие емкие слова, что можно было подумать, будто он всю жизнь занимался изучением украинской лексики.

— Или ты специально зубрил украинский? — поинтересовался я.

— У меня же бабушка украинка.

По дороге в столовую Мастер сказал мне, что

зарядил фотоаппарат и хочет пофотографировать окрестности.

— Критик с Литературоведом тоже пойдут?

— Обойдемся, — ответил он и я понял, что он не

хочет, чтобы они пошли с нами. А может, ему было известно, что они не хотят идти.

Сборы были недолгими. Он натянул ярко желтую

махровую рубашку с короткими рукавами, какие были в

моде несколько лет назад, и сразу помолодел на десяток лет — мальчишка мальчишкой.

— Надо бы кеды, — сказал я ему, увидев, что он надевает босоножки.

— Сойдет, — он повесил на плечо фотоаппарат и мы отправились. Проходя по набережной, увидели возле входа на пляж нашу знакомую в обществе своих подруг.

— Пойдемте с нами, — пригласил я.

— А сфотографируете?

— Непременно, — пообещал Мастер.

— Мы вдвоем, — сказала она.

Сначала наша тропинка шла по берегу моря. Гремела и хрюпала под ногами мокрая галька, а от воды тянуло гнилыми водорослями, потом мы миновали темно-серую осыпь из кила (отдыхающие прямо на пляже мыли им головы в морской воде и мазали лица от загара), старое здание электростанции, овраг, заброшенную камнедробилку, к стене которой прилепились «боксы» ма-

ленького и уютного пансионата и вот уже очутились у подножья горы, на которую предстояло забраться.

Поднимаясь по тропе в гору, мы то и дело останавливались и обозревали окрестности с высоты: искрившееся на солнце море, чаек, сопровождавших рыбачку шхуну, темные зубцы гор и орлов, паривших над ними.

Я заговорил о Максимилиане Волошине, профиль которого вырезала матушка-природа на круто спускавшейся в воду скале Кара-Дага. Поэт жил в Коктебеле и фактически основал Дом творчества писателей, который он сам называл «колонией для художников, поэтов, композиторов, путешественников, в общем, бродяг в лучшем смысле слова».

Дверь отперта.

Переступи порог.

Мой дом открыт

Навстречу всех дорог.

В Дом поэта дверь была открыта и после его смерти. Сюда приходили писатели, которых интересовало творчество Волошина, а недавно здесь открыли выставку его произведений и желающие могли познакомиться с его живописью и графикой. Пока открыты только три комнаты на первом этаже. В летнюю пору бывало по несколько экскурсий в день.

Но мне известно: Мастер не охотник до коллективных посещений, когда в группе оказываются совершенно разные люди, и по интересам, и по образованию.

— В музей меня водил один из поклонников таланта Волошина, тоже писатель, — рассказывал Мастер. — Я

все глядел на библиотеку. Впечатления не помню. Поговорил и с вдовой. Она разрешала иногда любителям Макса приходить в этот дом. При большом желании можно было и книги потрогать, полистать, почитать. Это было в семьдесят четвертом. А раньше, в шестьдесят восьмом я смотрел на балкон, где сидела всегда компания, понятно какая, и завидовал как человек, который этому «высокому» обществу не нужен. Не знаю, не помню, может быть, некоторые строки для повести о человеке, про которого ты так дотошно меня расспрашивал — злые, написаны здесь, в Коктебеле, или родились здесь.

— А как ты относишься к творчеству самого Волошина? — спросил я.

Мастер ответил не сразу.

— Однажды, пробежав его «белогвардейские» стихи, решил, что это самое лучшее из всего им написанного, — сказал он.

В ответ на мой удивленный вопрос, пояснил:

— Не потому-что былое, нет. Там Россия, трагедия, боль, чувства взаправдашние, никакой модерньяги и тумана. Больше ничего не читал, то есть читал еще стихи, они не нравились. Моей душе ближе Нестеровская лептоспись, чем «огромный лик царицы Таих». Заморские мифы и легенды может и хороши, но и наши былины и сказки не уступят им. А вот славить наше мы не умеем. И это обидно. Но даже он, Волошин — все-таки декадент — выше всех сегодняшних «новаторов» в кавычках, разумеется. Старая культура, русская сторона не давали еще так опохабиться.

И Мастер замолчал. Вообще настроение у него почему-то вдруг переменилось и мои попытки снова его разговорить, ни к чему не привели.

Недолго нам пришлось гулять по горам. Наша северянка все чаще отставала, присаживалась на валуны, чтобы перевести дыхание. Была она красива неяркой северной красотой, но годы брали свое, и непривычная к горам она быстро потеряла силы. Ее спутница – невысокая смуглянка с копной темных коротко остриженных волос держалась молодцом, хотя была и старше, и, как мы узнали, уже успела вырастить двух сыновей. По утрам я видел ее в числе бегавших трусцой.

Да и мы с Мастером не были приспособлены к путешествиям по горам. Томила жажда. У нас была бутылка пива, и мы выпили ее вчетвером прямо из горлышка, но облегчения не почувствовали, только во рту стало горчить.

Когда солнце достигло зенита, мы повернули назад. Домой возвращались уже по наезженной дороге через скотоводческую ферму.

Когда спускались к морю, внимание наше привлекли две, похожие на муравьев букашки, перетаскивавшие через дорогу что-то вроде кокона бабочки. Кокон был в десятки раз больше букашек, но это не останавливало их от своего намерения доставить груз в нужное им место. Одна букашка была чуть побольше (мы назвали ее папашей) и толкала кокон сзади, а та, что поменьше (сынок) тянула его. Кокон то и дело накатывался на малютку и прижимал ее к земле тогда «папаша» обегал груз и скатывал его с «сынка». А потом они снова вдвоем брались за дело.

Мы долго наблюдали за работой букашек, поражаясь их настойчивости и терпению.

Дорога с боков несколько возвышалась, и нам хотелось посмотреть, как они потащат свой груз в «гору», и это дело оказалось для них непосильным. Едва продви-

нувшись на несколько сантиметров кверху, они скатывались вместе со своей ношей вниз и снова тащили ее в том же направлении, как они его узнавали, одному Богу известно. А их упорству можно было позавидовать.

Однако, нам сверху было видно, что букашки никогда не смогут справиться со своей задачей.

И тогда Мастер вызвался им помочь, нашел на дороге щепочку и стал подталкивать кокон кверху сцепившимися в него букашками. Сначала они, видимо, не поняли, что в действие вступила посторонняя сила и продолжали упираться задними ногами в землю. Но как только почувствовали что-то неладное, тотчас же поджали задние ножки к животам и замерли, продолжая передними держаться за свою ношу. Без их опоры кокон сразу же скатился с горы. Осторожно, чтобы не повредить букашек, Мастер стал подталкивать его к краю дороги и в гору. Букашки не подавали признаков жизни, что, впрочем, не мешало им держаться за свой груз.

Мастер усмехнулся и покачал головой.

Он затащил кокон наверх и оставил там. Букашки поприворялись еще немного, а потом, увидев, что им ничего не грозит, потащили свою добычу дальше.

А мы отправились своей дорогой.

Женщины отстали, а потом и вовсе пропали, затерялись среди прогуливавшихся отдыхающих.

Время приблизилось к обеду.

И вот уже наступила пора уезжать. После полдника я сяду в автобус – и прощай обетованная земля. Когда теперь приеду снова сюда?

А пока еще утро. И я бегу в магазин за вином, чтобы проститься со своими новыми друзьями по-христиански.

Вчера вечером мы долго сидели с Мастером у него в комнате, немного выпили и вели разговор о жизни, о творчестве любимых писателей. Чувствовали себя усталыми. Недели напряженной работы, когда даже во сне мысли продолжают начатое днем дело, не прошли бесследно.

— Работать надо, работать, — говорил Мастер. — И говорил он это в первую очередь себе, потому что не доволен был своей малой производительностью. Теперь ему казалось, что мог бы сделать больше. Не потому ли в последние дни он пребывал в дурном настроении. Каякая-то частица его сознания постоянно напоминала ему, что жизнь идет под уклон, и надо торопить наверстать упущенное — и в работе, и в отдыхе.

Как он однажды сказал: «...Пора и увлечься жизнью, никогда не существовавшей». И тут же добавил: «Нет, вру, надо писать только о том, что было, сочинять можно ради связок».

Но я так и не узнал, находил ли он наслаждение в работе, которой отдавал всего себя, даже когда был с друзьями.

Теперь он надеялся только на то, что дома у матери наверстает упущенное.

Чем меньше оставалось дней быть нам тут, тем чаще он заводил речь о доме, о матери, которая жила в трех часах езды от его города, в живописной местности, на берегу Азовского моря. Она перебралась поближе сравнительно недавно, он помог ей построить там дом, обзавестись хозяйством. Все корил себя, что не успел до отъезда в Дом творчества купить ей цыплят и оправдывался перед самим собой, говоря, как это оказалось трудно.

О матери он всегда говорил с нежностью.

А мне вспоминались слова Марины Цветаевой из ее воспоминаний о Волошине: «...Каждая женщина, вырастившая сына одна, заслуживает, чтобы о ней рассказали, независимо даже от удачности или неудачности этого решения. Важна сумма усилий, то есть одинаковый подвиг — без всех, стало быть — против всех. Когда же эта одинокая мать оказывается матерью поэта, то есть высшего, что есть после монаха — почти пустынника и всегда мученика, всякой хвалы мало...»

Мастер собирался прямо отсюда махнуть к матери и пожить там с месяц, поработать, наверстать упущенное здесь, потому что ему в этом году обязательно нужно было закончить повесть о молодости. На него нажимали редакторы из издательства, с требованием представить рукопись к сроку, который уже не однажды переносили по его просьбе, а он все никак не мог докончить ее, или его не устраивало то, что он написал, или редакторов не устраивало им написанное.

Часами он сидел над недоконченной страницей и все думал, думал.

— Понимаешь, все умерло, — твердил он мне, — умерло для человека, который приехал в родные места и не нашел там ничего, кроме жалких обрывков воспоминаний. Он понял, что чужой там теперь. Все это надо показать.

И снова заводил речь о том, как поедет к матери, где есть условия для работы.

Какие ему нужны были условия? Наверное, дом матери был для Мастера нечто вроде Болдина, о котором как-то заговорил вдруг.

Он давно мечтал о своем угле, о истинно русском покое вокруг, где бы писалось так же хорошо, как Пуш-

кину в Болдине, и чтобы были хорошие соседи, к кому можно явиться запросто и найти утешение в печальную минуту.

Ему нужен был человек, которому он бы мог поплакаться, ведь плакаться – это тоже одно из свойств русского характера, а тем паче русского писателя, нервы которого оголены и требуют бальзама. И плакаться – это вовсе не слабость, как думают некоторые. Плач писателя сродни плачу Ярославны.

Он мечтал о чистой и бескорыстной дружбе. Ему хотелось иметь умных талантливых сверстников.

И хотелось создать что-то большое, настоящее, прославить чью-то жизнь, и чтобы написанное им жило долго.

Если бы у меня были какие-то особые права, то я создал бы ему и еще немногим, чье творчество понастоящему волнует читателя, пробуждает добрые чувства, все условия для работы и отдыха. Надо, чтобы такие, как он, не отвлекались от дела, не думали о хлебе насущном, не разменивали свой талант на мелочи. Пусть бы себе ездили или ходили по России сколько их душе угодно, встречались с нужными людьми, пусть бы жили, как им хочется, и писали о том, что впитало в себя сердце. Такие, как Мастер, не злоупотребили бы данными им правами, не стали бы сорить деньгами: обивать стены дубовыми панелями и шелком, скупить антиквариат и драгоценности, играть в рулетку, такие выше денег. В отличие от некоторых, он ни разу не заикнулся, что ему трудно, что нет денег, хотя у него, действительно, их не было. Да и откуда им взяться? Написал он немного, а если что-то переиздавали, то за это и платят гораздо меньше. И жилось ему не сильно сладко, хотя он-то сам был доволен. «Выбрался на балкон, запле-

тенный диким виноградом, создал себе царские условия для работы, – пора и увлечься жизнью...» Вот и все его требования к жизни.

Может кто-то из таких, как он, захотел бы обзавестись домом или усадьбой. Ну и пусть бы. Дом писателя – это не просто место для житья, но и его рабочее место, где зачастую он в отличие от простых смертных проводит по двенадцать часов в сутки, а то и больше. Рабочее место писателя – это целый мир. Тут каждая вещь должна о чем-то говорить, рождать воспоминания, вдохновлять. Ведь писатель творит не только за письменным столом, не только в кабинете.

Многие ли из наших современников имеют такие условия для работы, какие имел хотя бы тот же Волошин; или, скажем, Аксаков. Я не говорю уже о классиках, чьи дома сейчас превращены в музеи.

Есть ли у него место уединения, убежище, без которого так трудно бывает человеку в иные дни?

Есть ли у него тихая гавань, где обретаешь покой и умиротворение после возвращения из странствий по далеким краям?

Я чувствовал – он боялся одиночества. Не того, когда ты один, а того, когда тебе «...некому руку подать в минуту душевной тревоги», не с кем поговорить о чем-то заветном, когда ты не находишь отклика в душе другого. Мне казалось, что таких, кто понимал его с полуслова, было немного в его жизни. Ах, да и много ли найдется таких людей, которые жили бы одними и теми же интересами, и чтобы каждая мысль одного находила понимание у другого. Мы все такие разные.

Однако пора было оставить хозяина и в покое. Уходя к себе, я положил перед ним его книгу, которая

постоянно находилась у меня на столе, и из которой он вычеркнул букву из одного слова в предисловии чуть ли не в первый день нашего знакомства. Еще тогда я хотел попросить его, чтобы сделал для меня надпись. Но что-то удержало меня, то ли боязнь его отказа, то ли нежелание получить отписку.

Мастер достал ручку, подумал несколько, как всегда наморщив лоб, и чуть улыбнувшись своей по-детски трогательной улыбкой, написал на титульном листе то, о чем я сообщил в начале своего повествования. Добавил еще дорогое для меня слово: «Дружески» и расписался.

В конце книги он тоже поставил свою подпись и чуть ли не одним росчерком нарисовал Коктебельский залив, отвесную скалу Кара-Дага с профилем Волошина. И мне вдруг вспомнился рисунок, сделанный рукой Пушкина в черновой тетради «Евгения Онегина», там были изображены Золотые ворота Кара-Дага.

А в эту минуту на турбазе завели пластинку: «Когда это было, когда это было, во сне или на Яву...»

Мы расставались. Казалось, навсегда. Потому что не часто продолжаются знакомства, возникшие на берегу Черного моря. Он тоже должен был скоро уехать, чтобы снова где-то бросить якорь и попытаться докончить работу, которая почему-то не давалась ему тут и начинала тяготить его.

«Не дождусь, когда я расстанусь с сегодняшней мутью (книгой о молодости) и начну сочинять про Екатеринодар. Боюсь просрочить время, остыть».

Мы никогда не говорили с ним об этой его будущей книге. Он вообще не любил говорить о своих планах и задумках. Но из каких-то отдельных случайных реплик можно было понять, что он давно уже живет новой работой, собирает нужный ему материал.

А так хотелось бы знать о ее содержании.

И хотелось бы встречаться с ним иногда и беседовать о жизни и творчестве. Только это так нелегко, когда люди живут в разных городах, связанные каждый своей работой и многим другим, из чего состоит наша жизнь. Как-то она пойдет у него дальше? Сможет ли он перемениться в своих желаниях? Может ли его кто-то остановить? Или так и будет мотаться по свету, искать что-то, чего может и не существует, стремиться к чему-то, чего может и нет?

Сумеет ли он преодолеть жадность к новым местам?

Одно мне только известно: в исканиях будут обостряться его зрение и другие чувства, будет оттачиваться мысль. Отзычивая душа будет наполняться новыми впечатлениями жизни.

И появятся новые книги.

Мне хотелось запомнить его добре выражение глаз, которые всегда чего-то ждали, хотелось сказать ему:

Дорогой мой! Следуй своему призванию. Пусть и впредь душа твоя будет подобна поющему органу. И пусть песни твои будут так же дивны и так же желанны для всех, кому дорога Россия, Родина, кто любит свою землю и гордится тем, что ему выпало счастье жить на ней, кто восхищается делами своих соплеменников, их великим прошлым и не менее великим настоящим.

Все это было вчера. А сегодня я с утра хлопочу со столом, чтобы пригласить своих товарищей, что приняли меня в свой круг, поднять по чарке «на посошок». Я многое узнал от них и, теперь, рассказывая о Мастере, я воспользовался их откровенностью. Но не коварно. Я

просто следовал совету Мастера – быть правдивым. Не всего я сказал, потому что не все имело отношение к Мастеру, да и забыл многое. Да и нельзя сказать всего.

Собрались у меня на веранде – тесным дружеским кругом.

– Поблагодарим Коктебель, который дарит нам столько чудесных встреч, – сказал Критик. – Спасибо морю, солнцу, твоей гостеприимной террасе. Давай же почаще собираться и рассуждать!

Я тоже сказал какие-то добрые слова в адрес моих товарищ – и мы чокнулись стаканами.

И опять пошли разговоры о творчестве – ведь только этим и жил каждый из нас. Подводили итоги, кто что успел сделать за время в Доме творчества. И всем казалось, что могли бы сделать больше.

– Все мы перевалили за свою высоту, спускаемся потихоньку, а чем можем похвастаться? Алексей Толстой к сорока годам выдал больше книг, – сказал Литературовед. – А Горький?

И стали вспоминать, кто из признанных сколько книг написал.

И выходило, что классики работали намного продуктивнее. К концу жизни у каждого за плечами были десятки книг.

Опять заговорили о том маститом писателе, о творчестве которого шла речь при нашей первой встрече в связи со статьей Критика, которую тогда «обмывали». К своему пятидесятилетию он едва сумел наскрести своей продукции на пять томов. Ему пришлось включить туда все фронтовые записки и газетные статьи. А почему?

Вопрос повис в воздухе. Мне показалось в ту минуту, что моим собеседникам неловко друг перед другом.

гом. И перед собой неловко. Да и я чувствовал себя не лучшим образом. Вспомнились слова Мастера: «Прогулял много».

Успокоил всех Критик, сказав, что и у великих лишь отдельные произведения заслуживают серьезного внимания и останутся на века.

Подзахмелели немного. Критик стал читать стихи какого-то неизвестного мне автора. Очень задиристые стихи, острые. Таких не печатали в газетах.

Однако пора было собираться в дорогу и все поднялись из-за стола, стали уставливаться о встрече здесь же осенью или в следующем году.

Мы знали, что не быть нам уже такими, как теперь, если даже и встретимся потом, что-то навсегда оставили мы тут. И те, кто будут сидеть после нас на этой веранде (они уже были в пути, уже подъезжали к Коктебелю), не узнают, кто тут был до них. И слов наших не услышат. И сознание навсегда уходящего в прошлое невыразимой грустью отзывалось в сердце.

Стали прощаться.

– Мы придем к автобусу, – сказал Критик. – Соснем часок после обеда и придем. – Он имел в виду себя и Литературоведа.

Но я знал, что они не придут, проспят. А потом пойдут играть в теннис. Да и не хотелось мне беспокоить их. А Мастер сказал без обиняков:

– Давай простимся с тобой тут.

И мы по старому русскому обычаю обнялись и расцеловались троекратно, дружески и нежно похлопали один другого по плечу.

– Я тебе напишу, – сказал Мастер.

Хорошо знать, что есть в мире близкая тебе душа и то, что не сегодня, так когда-нибудь будет встреча, – подумал я в ту минуту.

И вот уже подошел автобус. Он отвезет меня и других отезжающих на вокзал. Мы заняли места. Водитель запустил мотор. Установливая в проходе чемодан с рукописями, я и не увидел, как подошел Поэт. Чтобы привлечь мое внимание, он постучал по окну, возле которого я сидел и, улыбнувшись своей тихой грустной улыбкой, сцепил кисти рук и тряхнул ими перед своим лицом вверх и вниз. Я сделал то же самое.

Автобус тронулся.

Общение наше длилось двадцать дней. А, кажется, что я знал Мастера всю жизнь

P.S.

К счастью, моя связь с Мастером не прервалась, и продолжается по сию пору, хотя встречаемся мы все реже: иногда это бывает у меня дома, на Проспекте Мира, или у наших общих знакомых, во время его приездов в Москву. Довелось мне побывать и в его краях, где он живет, познакомиться с его домочадцами.

Ночевал в кабинете Мастера, где все стены уставлены стеллажами с книгами. Среди них было много редких изданий. Воспользовавшись случаем, я просмотрел те, в которых имелись закладки и пометки карандашом. Сделал для себя выписки. Хотелось узнать, на чем заострял свое внимание Мастер. поразило разнообразие его интересов.

Однажды нагрянули к нему из Коктебеля Критик, Литературовед, генеральская чета и я с женой, где Мастер обретался в летние месяцы, чтобы отметить один из его юбилеев. Хорошо посидели, угощаясь тем, что за-

ботливо приготовила его мама, которая жила там постоянно.

И еще запомнилось, как в другой раз он провожал меня в Москву, и на вокзале разбилась трехлитровая банка с вареньем, которую мне дала жена Мастера. Как же он сокрушался и переживал по этому поводу.

С той поры Мастер написал и издал несколько книг, как всегда благосклонно встреченных читателем.

На титульном листе своего романа, который он подарил мне, его рукой начертано: «Зое и Льву Экономовым на память о наших с вами исторических днях о жизни в Коктебеле, свиданиях на проспекте Мира и расставаниях у вагона на Курском вокзале...»

Изредка переписываемся. Одно из его посланий (они чаще бывают немного грустными и одновременно шутливыми, а порой ироничными) я позволю себе привести в этих записках – с некоторыми сокращениями. Ими и завершу свое повествование.

«Дорогие мои Лева и Зоя вдруг вспомнил вас и то, как приехал в Кимры, оттуда к вам на дачу – и сердце заболело. Как все стало непросто: встречаться, писать письма...

Едва ли я закончу письмо сегодня. Начал – вдруг возникла идея рассказа о том, что люди разлучены. Скоро десять лет, как я отъезжал от вашего дома в Грецию, спал у вас под иконами и на возвратном пути кормился Зоинymi пельменями. И так же от вас уезжал в Москву, чтобы дня через два лететь в Америку. Теперь я всегда буду жить только воспоминаниями. Мне понятно, что было с людьми после революции.

...Живу я теперь в Краснодаре, матушку взял к себе, а в Пересыпи пусто и тихо в нашем дворе, и от этого я сам не свой: ведь хата наша была не дачным домиком.

Мне там пристроили сбоку хаты библиотеку (6х4), все лето я наблюдал, а осенью в одиночестве спал в ней несколько дней и порою чувствовал горькое блаженство на душе от одиночества, безмолвия вокруг...

... Читает ли Лев лекции о Советской литературе на станции Сходня?

Я нигде не бываю. О! Пошли-ка я вам газеты о моем юбилее! Но при этом буду высчитывать, сколько же уйдет на бандероль. Вот время какое!

...Пишу ночью. На зиму забрал мать в город, а восьмого апреля мы вернулись сюда. Сижу привязанный к двору. Очень слаба матушка.

В это время готовились мы когда-то к отъезду в Коктебель. Что там теперь? Все лето буду здесь. Стал понемножку писать. Да возился в огороде. Все время один. Привык. Скоро разучусь разговаривать. Письма получаю редко. Казалось бы – именно нынче все должны поддерживать друг друга приветом, но нет: русские странные люди. Я сам такой. Иногда мне передают из столицы журнал «Москва», да вот две книги – Г. Адамовича и лекции В. Набокова. В городе покупал «Советскую Россию», иногда «Известия» (чтобы сравнить).

Четыре года не пишет О... (то бишь Критик – Л.Э.). встрети его, Лев, скажи: никогда он не обижал меня так сильно. Какое-то прямо вражеское молчание. Наверно, богат и всегда пьян. Романа его об Александре III не читал, а интервью в «Книжном обозрении» – как всегда умное, порою блестящее. Такие москвичи не пропадут, это я (до юбилея) скитался по углам побиушкой. Пенсия вот запаздывает. Но никакой пенсии и прочих доходов не хватает на поездку в Москву.

Дочка у меня хозяйка боевая. Рынок чувствует лучше Черномырдина, а денег не зарабатывает: учится...

А вы-то как? – сколько пенсия? Или кормят Кимры? Что там? Целое лето на даче? Преуспели ли детки? Ты, Лев, литературу бросил?

Мне поставили телефон в Пересыпи, но тут по неделям нет связи... Да теперь не назвониться?

Буду писать рассказы. Посажу на подоконник женщину и срисую. Опыт есть. Не кошку же рисовать?!

Aх, как хочется пройтись мимо обувного магазина (это рядом с моим домом – Л.Э.) до метро, покалывать! Но в Москве буду не скоро. Вот такая досталась нам старость.

Передавайте привет всем, кто меня помнит.

У тебя там есть лимонная или на полыни? Налей. Хлобыстнем!

Осенью я бываю на кинотеатре в Анапе... покушаю за чужой счет, на море погляжу. Я ведь в этом районе работал. Эх, ничего не ценили! Правда? Здоровы ли вы?

Увидите, передайте привет М... (той, что подарила Мастеру собрание сочинений Бунина – Л.Э.) и Я... (которая, кажется, была безнадежно влюблена в Мастера и готова была для него на все – Л.Э.), пусть присыпает свои публикации. М... хорошо подготовила дневник Великого князя Константина Константиновича (К.Р.)

Ну, спать пора. Жду отклика.

Люблю и обнимаю. Ваш...

И далее – широкая размашистая подпись Мастера.



Сдано в набор 19.06.2006 г. Подписано в печать 29.08.2006 г.

Формат 60x84. Объем 10 п.л.

Печать офсетная. Бумага офсетная 65 г.

Заказ № 2158. Тираж 500. Гарнитура Arial.

Отпечатано в ГУП МО «Коломенская типография».  
140400, Московская обл., г. Коломна, ул. III Интернационала, 2а.

